

DOI 10.15393/j9.art.2018.5361

УДК 821.161.1.09“1917/1992”

Игорь Васильевич Кудряшов*(Арзамас, Российская Федерация)*

kiv.arz@yandex.ru

Автор и герой в поэме Николая Клюева «Повесть скорби»

Аннотация. Статья посвящена изучению автобиографического образа лирического героя поэмы Н. А. Клюева «Повесть скорби» (1933). Герой произведения новокрестьянского поэта позиционирует «родственную» близость своей судьбы и своих творческих принципов с великим предшественником — поэтом А. С. Пушкиным. Многочисленные отсылки текста поэмы к фактам биографии Пушкина и его произведениям значимы не только для уяснения глубинных смысловых пластов одного из самых пронзительных произведений новокрестьянского поэта, но и для осмысления принципов преемственности пушкинских этико-эстетических принципов в позднем творчестве Клюева. Автор исследования приходит к выводу, что отсылки к Пушкину, его биографии и творчеству в поэме «Повесть скорби» способствуют созданию предельно исповедального образа главного героя — обреченного на гибель поэта, подводящего итоги собственного творческого пути.

Ключевые слова: новокрестьянская поэзия, преемственность, диалог, литературная традиция, поэма, реминисценция, Н. А. Клюев, А. С. Пушкин

Относящаяся к числу наиболее значимых произведений в позднем периоде творчества Н. А. Клюева лиро-эпическая поэма «Повесть скорби» (1933) венчает важную веху творческой эволюции новокрестьянского поэта в один из самых сложных и драматичных этапов его жизненного пути. Поэма подводит итог художественных исканий Клюева конца 1920-х — начала 1930-х гг. и создается поэтом в период глубоко переживаемой им личной драмы, связанной с разрывом дружеских отношений с молодым художником А. Н. Яр-Кравченко (1911–1983), который становится адресатом клюевской «повести скорби роковой». Период тесной дружбы известного поэта и юного рисовальщика, продолжавшийся с 1928 по 1933 гг., оставил заметный след в творческом сознании

обоих художников, и особенно Клюева, для которого молодой художник стал «героем его последнего лирического романа» [Михайлов, 1999: 54], как в лично-биографическом, так и, конечно же, в творческом плане. В одном из писем того периода, обращенном к молодому другу-живописцу, поэт искренне признавался: «Ни одна минута, прожитая с тобой, не была не творческой» (цит. по: [Кравченко: 156]). Годы их тесного общения, продолжавшегося более пяти лет, были необычайно плодотворными и для олонецкого поэта, и для нежно опекаемого им друга. Отношения с Анатолием Яр-Кравченко вдохновили Клюева на создание многочисленных поэтических произведений, преимущественно любовно-философской лирики, таких как «С тобою плыть в морское устье...» (1929–1932), «Вспоминаю тебя и не помню...» (1929), цикла стихотворений «О чем шумят седые кедры» (1930–1932) и др., а близкое общение Анатолия с поэтом подвигло молодого художника написать, в частности, общеизвестный портрет Сергея Есенина в рост, приобретенный в 1930 году Пушкинским домом [Николай Клюев. Воспоминания...: 754–755], и серию изображений своего старшего друга-наставника, благодаря которым, при известных стараниях и рекомендациях со стороны опекавшего его Клюева, начинающий портретист оказывается в кругу художественной столичной элиты [Базанов: 227–229], [Михайлов, 1993: 165].

Как справедливо отметил А. М. Михайлов, для творчества Николая Клюева конца 1920-х — начала 1930-х гг. характерно «сближение» адресата посвящений Клюева и их героя, а образ поэта в значительной мере наделяется автобиографическими чертами (см.: [Михайлов, 1999: 54–56]). Эта особенность художественного сознания Клюева наглядно демонстрирует повышенное внимание новокрестьянского поэта к вопросу идентификации собственной творческой личности. Проблема самоидентификации в поэзии Клюева конца 20-х — начала 30-х гг. становится ключевой, а ее художественное решение в поэме «Повесть скорби» мотивирует пушкинское «присутствие» в тексте данного произведения. Для новокрестьянского поэта Пушкин — непревзойденный гений, определивший вектор развития отечественной словесности, недостижимый

эталон, по отношению к которому Клюев в «Повести скорби», благодаря тесному (по выражению Клюева, «сродственному») сближению героя-поэта и автора, идентифицирует и собственную жизнь, и собственное творчество. Поэтому всестороннее осмысление именно пушкинских отсылок в тексте клюевской поэмы отчетливо проясняет как глубинные («поддонные») смысловые уровни произведения, так и ярко характеризует особенности художественного сознания «овинного поэта» в поздний период творчества.

Отметим также, что нашедшее выражение в «Повести скорби» глубокое религиозно-философское осмысление Клюевым понятия дружбы и ее утраты близко концепции известного русского мыслителя, священнослужителя и ученого П. А. Флоренского (1882–1937), изложенной им в сочинении «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах» (1914). В нем автор, рассуждая о сущности фундаментального понятия любви, выдвигает тезис о том, что дружба, равно как и братство, в религиозном понимании этого слова, является выражением «агапической любви» и порождает в сознании друзей «мистическое единство», проникающее «собою все стороны жизни их» [Флоренский: 412–413]. Утрата дружбы, равно как и предательство одного из друзей, трактуется религиозным философом как ужасная духовная катастрофа, сродственная смерти человека:

«Потрясающие стоны 87-го Псалма обрываются воплем, — о друге. Для всяких скорбей находятя слова, но потеря друга и близкого — выше слов: тут — предел скорби, тут какой-то нравственный обморок. Одиночество — страшное слово: “быть без друга” таинственным образом соприкасается с “быть вне Бога”. Лишение друга — это род смерти. <...> “Я сравнялся с нисходящими в могилу; я стал, как человек без силы между мертвыми брошенный, — как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь и которые от руки Твоей отринуты. <...> Ты удалил от меня друга искреннего: знакомых моих не видно» [Флоренский: 416–417].

Близость поэтического осмысления дружбы и ее утраты Клюевым с постулатами книги Флоренского объясняется общими

православными корнями их концепций, родственной близостью религиозных мировоззрений — с одной стороны, и с другой — определенным влиянием указанного труда философа на поэта. О наличии последнего свидетельствует, в частности, тот факт, что поэт в период создания «Повести скорби» обращался к труду Флоренского и использовал отрывок из него в качестве эпиграфа в стихотворном послании «Моему другу Анатолию Яру». Оно было написано Клюевым всего за месяц до завершения «Повести скорби» — 1 мая 1933 г. и предназначалось тому же адресату, что и поэма.

Работа над обоими произведениями у Клюева шла, вероятно, параллельно, или же создание стихотворения, обращенного к другу, непосредственно предшествовало написанию «роковой повести». В стихотворном послании к Анатолию Яр-Кравченко поэт в качестве эпиграфа берет достаточно объемную цитату о духовно-нравственном значении утраты дружбы из сочинения Флоренского (в частности, из «Письма двенадцатого: Ревность» и «Письма одиннадцатого: Дружба» с перестановкой предложений), указывая не только ее источник (автора и названия его труда), но и нумерацию страниц издания Флоренского 1914 г., откуда данный текст им был заимствован. Сделано это было поэтом, по-видимому, с целью облегчить ее нахождение в книге для неискушенного в философии молодого друга. При этом цитата из труда Флоренского, помещенная Клюевым в качестве эпиграфа к своему стихотворному посланию, незначительно была изменена — перестановкой последовательности предложений — для того, чтобы отразить последовательность трагического разрыва отношений, которые закономерно заканчиваются вопиющими стонами умирающего псалмопевца о друге. В итоге эпиграф приобрел следующий вид:

«Сердце, изъязвленное Другом, не залечивается ничем, — кроме Времени да Смерти. Но Время стирает язвы его, удаляя и большую часть сердца, — частично умерщвляет, — а Смерть изничтожает всего человека. Поскольку жив, стало быть, человек, постольку неисцельны и болезненны раны его от дружбы и будет он ходить с ними, чтобы явить их Вечному Судие. С. 476

Для всех скорбей находятся слова, но потеря друга и близкого — выше слов: тут — предел скорби, тут какой-то нравственный обморок. Одиночество — страшное слово: “быть без друга” таинственным образом соприкасается с “быть вне Бога”. Лишение друга — это род смерти.

Потрясающие стоны 87-го Псалма обрываются воплями о друге: “Я сравнялся с нисходящими в могилу; я стал как человек без силы между мертвыми, брошенный, — как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь, Господи. Ты удалил от меня друга искреннего: знакомых моих не видно”. С. 416–417»¹.

Обращение Клюева в начале 30-х гг. к труду Флоренского «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах» и родственная близость религиозно-философского осмысления понятия дружбы православным мыслителем и новокрестьянским поэтом дает основание говорить о влиянии труда Флоренского на творческое сознание Клюева. Это влияние оставило свой след в том числе в художественной ткани поэмы «Повесть скорби» и отразилось на образе ее главного героя.

Текст поэмы-послания Клюева «Повесть скорби» предельно исповедален, а ее лирический герой максимально сближен с автором произведения. «Повесть скорби» — это исповедь поэта, переживающего тяжелейший духовно-эмоциональный кризис, порожденный утратой дружбы. Фокус внимания героя-повествователя поочередно меняется: то он сосредоточен на настоящем, когда катастрофический разрыв с «другом искренним» уже произошел, то обращается в воспоминаниях («видениях») к счастливым моментам, когда его жизнь была преисполнена творчеством, порожденным дружбой с молодым художником Анатолием Яром. Особо подчеркнем, что в «Повести скорби» лежащие в основании творчества дружеские отношения преподносятся героем-поэтом, а посредством него и автором, как своего рода сакральный, порождающий красоту акт сотворчества.

Пространство «настоящего» мира (в отличие от мира видений-воспоминаний) наполнено для клюевского героя, потерявшего

«дружбы сумеречной розан», зловещими звуками и ужасающими образами смерти, такими, как «*хохот каторжных цепей*» и пляска «*налегке*» костей. Лишившись жизненно необходимых отношений с другом, герой-поэт вместе с тем теряет способность созидать прекрасное, а соответственно, утрачивает смысл своего земного существования, что для творческой личности поэта сродни смерти:

«В мешке два сердца человечьих,
Пригоршня ладана и свечи!
Кому достанется мешок? —
Поэту ль за отару строк,
Похожих на чирят болотных?..

<...>

Поблеклым вереском да воском
Я расшиваю повесть скорби, —
Лазорь и шелк уснули в торбе,
Им не пойти стихом впрысядку» (696–697).

Для клюевского героя «лишение друга — род смерти», что всецело соотносится со взглядами Флоренского на дружбу и ее утрату. Без друга герой поэмы теряет свой песнотворческий дар, с горечью восклицая: «Мои стихи теперь — опенки / Без самоцветного лосенка...» (699), — а вместе с ним останавливается течение жизни. Окружающий мир рождает в герое чувства невозвратимой потери, бесконечного одиночества и неизбежности собственной гибели:

«Уж не сирень, а скрип обоза
Осиным роем бьет в окно, —
Везут парчу и полотно
Да три доски всегда готовых» (697).

Пушкинское присутствие в клюевском тексте обнаруживается в тот момент, когда лишившийся друга герой-поэт оказывается лицом к лицу со смертью, что закономерно мотивирует его обращение к оценке собственного творчества. В приведенных выше строках из поэмы образ скрипящего обоза (группы повозок, перевозящих кладь) коррелирует

с известным пушкинским образом телеги жизни из одноименного стихотворения 1823 г.:

«Катит по прежнему телега;
Под вечер мы привыкли к ней
И дремля едем до ночлега —
А время гонит лошадей»².

И пушкинский, и клюевский герои примирились с неумолимым ходом событий, приближающих смерть, и не предпринимают попыток отсрочить неизбежное. Вместе с тем поэтические интерпретации обоза у Клюева и телеги жизни у Пушкина разнятся. Так, лирический герой пушкинского произведения, несмотря на то, что он является всего лишь «пассажиром» телеги, все же способен влиять на события, связанные с ее движением. Он так или иначе взаимодействует с «лихим ямщиком»-временем — то подгоняет его, то пытается замедлить:

«Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошел <, ебёна мать>!
Но в полдень нет уж той отваги;
Порастрясло нас; нам страшней
И косогоры и овраги;
Кричим: полегче, дуралей!» (II, 306).

Герой же клюевской поэмы, напротив, предстает сторонним наблюдателем, покорно ожидающим скорого приближения погребального обоза, управляемого неведомыми ему силами. Он достоверно осведомлен о том, что в обозе *везут* гробовые доски и ритуальные принадлежности для обряда его похорон. У Пушкина катящаяся по косогорам и оврагам «телега» в большей степени символизирует скоротечность жизни человека (телега жизни), в то время как у Клюева скрипящий «обоз» — это символ неотвратимости смерти (обоз смерти).

От невыносимой тоски по другу и от тягостного предчувствия скорой гибели герой-поэт, изливающий читателю свою «повесть скорби», ищет спасения и защиты в дорогах его сердцу «образах былого», которые облачены в праздничные

«одежды звездно-позолотные». Воспоминания о наполненных золотым светом и творческим вдохновением счастливых дней жизни с другом у героя настолько сильны и явственны, что на время затмевают собой полную горечи и скорби реальность. Создавая полное впечатление объективной действительности, они становятся для героя видением наяву. Контраст между устрашающей героя реальностью и «звездно-позолотным» видением, базирующийся на противопоставлении «город—природа», обогащается в клюевской поэме новыми оттенками и приращением смыслов за счет авторских отсылок к пушкинскому творческому наследию. В «Повести скорби», как и в поэме «Плач о Сергее Есенине» (1926), Клюев прибегает к использованию инвертированных, «перевернутых» пушкинских образов (см.: [Кудряшов, 2008: 228–242], [Кудряшов, Полякова, 2018: 201–213]). Так, образ лесной избушки в глубине заповедного леса отсылает ассоциативную память читателя к образу шалаша, в который попадает в своем вещем сновидении Татьяна Ларина из романа «Евгений Онегин». Кошмар пушкинской героини, наполненный демоническими созданиями, инвертирован Клюевым в поэме в видение героем-поэтом предельно умиротворенной и полной волшебства картины. В отличие от пушкинской Татьяны, находящейся во враждебном, полном неведомой опасности лесном пространстве, клюевский герой-поэт в своих видениях пребывает в дружеском мире, недоступном для проникновения извне любого зла, враждебного счастью дружелюбия.

Пушкинское влияние обнаруживается и в клюевском образе дружелюбного медведя, который соотнесен по принципу зеркальной симметрии с враждебным образом хозяина леса из сна Татьяны Лариной. Если в пушкинском романе медведь изображен как недобрая, устрашающая сила, то в клюевской поэме, напротив, он выступает в роли доброго, мудрого и заботливого хозяина заповедной чащи, одного слова которого достаточно для того, чтобы оградить дорогое для него существо от любых опасностей, таящихся в «пуще северной еловой»:

Пушкин

Он (медведь. — *И. К.*) мчит ее
 лесной дорогой;
 Вдруг меж дерев шалаш убогой;
 Кругом все глушь; отсюда он
 Пустынным снегом занесен,
 И ярко светится окошко,
 И в шалаше и крик, и шум <...>
 Опомнилась, глядит Татьяна:
 Медведя нет; она в снях;
 За дверью крик и звон стака-
 на,
 Как на больших похоронах
 <...>
 <...> за столом
 Сидят чудовища кругом:
 Один в рогах с собачьей мор-
 дой,
 Другой с петушьей головой,
 Здесь ведьма с козьей бородой,
 Тут остов чопорный и гордый,
 Там карла с хвостиком, а вот
 Полу-журавль и полу-кот
 (VI, 103–104).

Клюев

И с той поры в ольховой хмаре,
 За кружкой меда у медведя,
 Барсук-лаптюга, рысь-редедя
 За первопуток правят сплетки,
 Что от загадочной находки
 Не спится старому ручью.
 <...>
 И в жемчужовую избушку,
 Где сны и песни в кулебяках,
 Лосенку тропка в синих маках, —
 Порукою медвежье слово!..
 (697–698).

Клюевская трактовка образа медведя обусловлена авторским стремлением подчеркнуть заявленный в «Повести скорби» контраст между мрачной действительностью и «звездно-позолотным» видением, в котором ищет спасительного прибежища герой поэмы, и восходит к биографическому «природно-звериному» мифу», создававшемуся самим поэтом (см: [Кравченко: 103], [Маркова, 2009], [Маркова, 2010: 48–55]). В этой связи показательно письмо к Анатолию Яр-Кравченко от 10 мая 1932 г., в котором Клюев именуется себя медведем, а адресата послания — ласточкой:

«...я <...> мшистая, кряковистая коряга, под которой издыхает последний житель лесов медведь — мое сердце. Медведь дыхами,

сапом и хриплым стоном, утирая лапой смолистые черные слезы, зовет свою ласточку <...>. В эту зиму я подлинно медведь-шатун»³.

Источники ключевых образов из «звездно-позолотного» видения героем-поэтом своего прошлого коренятся в реалиях биографии Клюева. Так, «жемчужовая избушка», бережно охраняемая ведунном-медведем, не является целиком вымышленным образом, но имеет реальный первообраз, непосредственно соотносящийся с фактами личной жизни поэта. Образ «милого дома», сокрытого от остального мира в заповедной чаще, рожден воспоминаниями Клюева о вятской деревне Потрепухино, которая для поэта не единожды становилась местом летнего отдыха, «глубокого хвойного уединения» и творческого подъема (см. об этом: [Кравченко: 65]). Именно там в полной мере «находит свое отражение и клюевский девиз жизни и творчества — <...> “...жить около города, в деревне, на берегу реки, недалеко от леса и в простой крестьянской избе”» [Кравченко: 32]. Свидетельства счастливых дней жизни и творчества Клюева на «сказочной» Вятке сохранили как эпистолярный поэт, так и его творчество: «Я на реке Вятке — место упоительное, на высоком берегу, вокруг боры, синие леса. Красота величавая и подлинно русская» (цит. по: [Кравченко: 33]); «Я сам, еще недавно укрепляющий людей в их горе, уже четыре раза ходил к водовороту на реке Оби, но глубина небесная и потоки слез удерживают меня от горького решения. Я намерен проситься в ссылку в Вятскую губ<ернию>, ведь там еще не изгладились следы дорогих для меня ног» (цит. по: [Кравченко: 176]); «И веет свежестью речной, / Плотами, теплою сосной, / Как на влюбленной в сказку Вятке» (582) и др. Вполне закономерно, что идиллический образ вятской деревни Потрепухино, в которой некогда любили проводить летние месяцы известный поэт и молодой художник, возникает и в тексте «роковой повести» о лишении «друга искреннего»: «На Вятке розовы березки, / И горница на зори дверью» (700).

Для Клюева было важно, чтобы адресат поэмы художник Анатолий Яр-Кравченко оживил воспоминания, связанные с неизменно счастливым и полным творчества временем их

совместного пребывания в Потрепухино. Борис Кравченко, который вместе с братом Анатолием и Николаем Алексеевичем проводил летние месяцы на Вятке, вспоминал о творческой работе поэта и юного художника в Потрепухино: «...последовала увлеченная работа Анатолия над портретами самого Клюева. <...> Частично велась она в Ленинграде <...>, а частично в селе Потрепухино на реке Вятке. Это село Николай Алексеевич шутливо называл “нашей резиденцией”, имея в виду себя, Анатолия и меня. <...> В бане Клюев любил отдыхать и уединяться, работая над стихами» [Кравченко: 83]. Творческую работу как Анатолия, так и Николая Алексеевича на Вятке, если ее охарактеризовать по источнику, питающему вдохновение как молодого художника, так и маститого поэта, уместнее было бы назвать сотворчеством, в основе которого лежат глубокие интимные и доверительные взаимоотношения этих двух неординарных личностей. Поэзию Клюева начала 30-х гг. одухотворяли интимные отношения к «другу искреннему», портретное творчество которого, в свою очередь, неповторимо запечатлело для потомков близкий сердцу художника образ поэта. Влияние Клюева, существенным образом сказавшееся на творчестве Яр-Кравченко, выразилось в том, что старший друг стал для него высоким примером беззаветного и самозабвенного служения музе. Об этом наглядно свидетельствуют записи Анатолия 1931 г., сделанные им в Потрепухино, запечатлевшие Клюева в моменты его поэтической работы: «...я увидел, что он (Клюев. — И. К.) занят. Весь в думах, в сравнениях, стихах» [Кравченко: 87]; или, например, зафиксированные Яр-Кравченко в записной книжке слова поэта, сказанные им после курьезного случая потери замка от дома, в котором они жили: «Он (Клюев. — И. К.), чуть не плача, сказал: — Все стихи виноваты. Когда я пишу, я могу сказать что-то кому-нибудь или ответить — и забыть. <...> Нет, после еды я не могу писать. <...> И на реке не могу. Только на тропинке. Хожу и слагаю. Чтоб полный покой. И ничто бы не отвлекало» [Кравченко: 87].

Душевная рана, нанесенная герою клюевской поэмы «другом искренним», мучительна, «неисцельна», и ни грезы наяву, ни память о светлых и беспечальных днях дружеской влюбленности

неспособны смягчить ее бесконечную боль и облегчить роковую участь страдающего поэта. Безутешная скорбь героя «повести» гибельна и предопределена неизбежностью его трагической судьбы. Он не в состоянии противостоять губительной силе, отнявшей у него друга, которая заключена в страшном и мрачном городе, наполненном вьюгой и демоническими сущностями, такими как «колтун с собачьей пархой» и «пляшущие кости» в «подземном адском кабачке». Образы пурги и нечистой враждебной силы отсылают ассоциативную память читателя к тексту пушкинского стихотворения «Бесы», лирический герой которого, подобно другу клюевского героя-поэта, сбился с пути во время сильной метели, порожденной вихревыми движениями бесов, грозящей путнику гибелью:

Пушкин

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.

<...>

Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

<...>

Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре... (III, 226–227).

Клюев

Пусть эти руны, как селенье,
В ночи приветным огоньком
Тебя помянут в милый
дом... (698).

<...>

Гранитной лапе до зверей,
До птиц с цветами нету
дела, —

Она в пурге осатанелой
Качает маятник луны (700).

При сравнении текстов двух поэтов обращает на себя внимание тот факт, что пушкинский герой сбился с пути на открытом пространстве (в поле, «среди неведомых равнин»), в то время как друг клюевского героя заблудился в замкнутом пространстве мрачного зимнего города Ленинграда, что мотивировано спецификой этико-философской концепции творчества новокрестьянского поэта, для которой характерно противопоставление города человеку и природе. В поэме «Повесть скорби» образ враждебного человеку города, характерный для

клюевской поэзии в целом, обогащается за счет привнесения негативных коннотаций, сформировавшихся в творческом сознании поэта после известных событий, связанных с трагической гибелью близкого друга, «меньшого брата» и нашедших художественное выражение в поэме 1926 г. «Плач о Сергее Есенине» [Кудряшов, 2015а: 377–385]. В письмах, адресованных Анатолию, Клюев часто выражает тревогу за своего юного друга, учившегося в начале 30-х гг. искусству живописи в Ленинграде. Поэт «беспокоится молчанием» Анатолия, болезненно волнуется о том, что юноша может попасть, по его мнению, в дурные компании или совершить опрометчивый поступок [Кравченко: 139–165]. После окончательного переезда Клюева на жительство из Ленинграда в Москву его переживания о судьбе Анатолия лишь усугубляются по мере того, как утрачивается доверительная искренность дружеских отношений художника к поэту. По мнению Т. А. Кравченко и А. И. Михайлова, «безоблачную дружбу <...> разъедают неизбежные и частые разлуки, вековые сплетни», к тому же через несколько лет вполне закономерно «младшему приспело время, увы, выйти из притяжения ее чар, тогда как старший готов цепляться и надеяться» [Кравченко: 123, 159]. В этом аспекте взаимоотношения Клюева с Анатолием Яр-Кравченко повторяют историю его «дружбы-вражды» с Сергеем Есениным.

Противопоставленный лесной вятской «сказке» город Ленинград в «Повести скорби» олицетворяет страшного Зверя, наделенного дьявольской силой, которому невозможно противостоять обычному человеку. Перед его мощью меркнут даже светлые воспоминания героя-поэта о лесной вятской «сказке». Город-дьявол стремится разлучить и в итоге разлучает героя-поэта с его «другом искренним»:

«Гранитной лапе до зверей,
До птиц с цветами нету дела, —
Она в пурге осатанелой
Качает маятник луны» (700).
«... Ленинград луну качает,
Как маятник, гранитной лапой.

<...>

Но лапа подымает вой,
И гаснет золото виденья...» (698).

Заглавие поэмы Клюева «Повесть скорби» и ее трагический пафос, обусловленный роковой предопределенностью, родственно сближают ее с поэмой «Медный всадник», как известно, наделенной Пушкиным подзаголовком «Петербургская повесть». Оба произведения — это «повести роковые» о героях, лишившихся своих близких и пытающихся вернуться в свое прошлое (в «ветхий домик»), но обреченных страшной неведомой силой Петербурга (Ленинграда) на мучения и смерть.

В финале клюевской поэмы в образе Ленинграда отчетливо проступают черты Петербурга из пушкинской «повести». Такая яркая деталь ленинградского пейзажа, как адмиралтейская игла, вплетенная Клюевым в художественную ткань «роковой повести», непосредственно отсылает читательскую память к ставшему хрестоматийным пушкинскому описанию северной столицы:

«И светла
Адмиралтейская игла...» (V, 136).

Картина Ленинграда в поэме «Повесть скорби» прямо апеллирует к пушкинскому описанию Северной столицы в поэме «Медный всадник» и, в частности, к изображению Невы накануне наводнения, по вине которого пушкинский Евгений, равно как и герой клюевской поэмы, теряет дорогого ему человека.

Пушкин

Печален будет мой рассказ. <...>
Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом.
Плеская шумною волной
В края своей ограды стройной,
Нева металась, как больной
В своей постеле беспокойной
(V, 137–138).

Клюев

От невской пасмурной волны
И от иглы адмиралтейской
Питаться повестью злодейской
Тебе, как Дантесу, не внове... (700).

Однако, в отличие от пушкинского Евгения, клюевский герой-поэт не винит в своей утрате неподвластные стихийные

силы природы. Он справедливо возлагает всю полноту ответственности за собственную гибель на отдалившегося от него друга, прототипом которого стал Анатолий Яр-Кравченко. Убийственные обвинения герою-поэтом своего друга, вероятно, восходят к вполне конкретным биографическим фактам: молодой художник совершил поступок, грозивший поэту самыми серьезными последствиями и гибелью. Так, в письме от 18 мая 1933 г. Клюев, уже попавший в немилость к официальным властям, скорбно упрекает Анатолия за подпольное распространение текста поэмы «Песнь о Великой Матери», что, по убеждению поэта, сродни коварному предательству дружбы и даже брато- и отцеубийству. Клюев всячески стремится подчеркнуть преступную тяжесть деяния Яр-Кравченко, совершенного им смертного греха, именуя адресата своего послания «братом» и «пестованным дитятко» и заостряя внимание на невозможности искупления содеянного: «...ты убил меня и поэму зверским и глупым образом. <...> То, что не удалось моим черным и открытым врагам, сделано и совершено тобой — моим братом. <...> не издание, не деньги ты добыл для меня, а лишил меня последнего куска хлеба, следом за этим — пуля или веревка <...>. Дитятко мое пестованное, заветное, куда ты идешь? Ведь кровь мою не отмыть тебе во веки» [Кравченко: 157–158]. Эти строки из письма Клюева проливают свет на совершенную перемену, которая происходит в «Повести скорби» с «другом искренним»: из «самоцветного лосенка, / Что в сердце искупал копытца» (699) он превращается в того, кому «питаться повестью злодейской / <...> как Дантесу, не внове» (700), т. е. в коварного и бесчувственного убийцу поэта. «Взгляни, росинка свежей крови / Горит и на твоей перчатке!» (700), — восклицает клюевский герой-поэт, обращаясь к нанесшему ему смертельную душевную рану другу. Заметим, что сходное обращение лирического героя-поэта к «меньшому брату», предавшему их общие идеалы, содержится в клюевском цикле стихотворений «Поэту Сергею Есенину», написанном в период охлаждения отношений между поэтами. В «самом личном, интимном и горестном» стихотворении «Ёлушка-сестрица...» (1917), вошедшем в цикл, Клюев, сильно переживавший в это время разрыв

отношений с «младшим братом», проводит поэтическую аналогию Есенина с убийцей Годуновым, а своего лирического героя с «убиенным Митрием» (см.: [Кудряшов, 2015b: 59–65], [Кудряшов, 2018: 157–164]). Образ «свежей крови», символизирующий преступное убийство невинного героя, здесь также возникает в кульминационный момент развития лирического сюжета:

«Тяжко, светик, тяжело!
 Вся в крови рубашка...
 Где ты, Углич мой?..
 Жертва Годунова,
 Я в глуши еловой
 Восприму покой» (301).

В «Повести скорби», по мнению редакторов-составителей книги «Наследие комет. Неизвестное о Николае Клюеве и Анатолии Яре», «сравнивая своего любимца с Дантесом, автор скорбит о том, “что ангел с облачною ветвью обратился в кобеля” и его облик в будущем будет очерчен “уж не иконной нежной вапой... А головней из кабака...”» [Кравченко: 165]. В то же время сравнение «друга искреннего», совершившего предательство и тем самым обрекшего поэта на гибель, с Дантесом закономерно рождает аналогии главного героя «роковой повести» с Пушкиным. С учетом исповедально-биографического характера поэмы и нарочито близкой родственной связи ее героя-поэта с автором возникшая пушкинская аналогия приобретает ключевое значение в аспекте оценки Клюевым собственного жизненного пути и значения своего творчества:

«Прости, Владычица, меня!
 Я твой в рубахе пестрядиной,
 Поэт посконный и овинный,
 Но Пушкину сродни звездой...» (700–701).

В этих финальных проникновенных строках «Повести скорби» от лица гибнущего героя-поэта Клюев смело и недвусмысленно заявляет о своей сродственной связи с Пушкиным. Своеобразным «ключом» к расшифровке этих строк о родственной близости с великим предшественником, способствующим осмыслению всего комплекса коннотаций

(«поддонных» смысловых пластов), служит многозначный образ-символ звезды.

Образное определение значения А. С. Пушкина «Солнце русской поэзии», восходящее к краткому извещению о смерти великого поэта, напечатанному 30 января 1837 г., на следующий день после его кончины, в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» известно всем со школьной скамьи [Одоевский: 48]. Вместе с тем непривычное для слуха поэтическое сравнение Клюевым значения пушкинского гения со звездой коренится в общеизвестном образном определении значения Пушкина как «солнца нашей Поэзии», так как Солнце — это *единственная звезда* в нашей Солнечной системе, вокруг которой обращаются другие объекты этой системы: планеты и их спутники, кометы, астероиды и др. На этом основании поэтический образ-символ звезды у Клюева вбирает в себя значение определения «Солнце русской поэзии» и вместе с тем несет новые дополнительные смысловые оттенки: сияние всех небесных тел нашей Солнечной системы в ночном небе, как общеизвестно, обусловлено отражением солнечного света. Если вслед за Клюевым провести аналогию сияния планет в ночном небе с определением значения творчества русских писателей, то выявляется значение: творчество каждого из литераторов, в той или иной степени, лишь преломляет свет от сияния пушкинского гения, озаряющего им путь в литературе. Определяя свое значение на небосклоне русской словесности как «сродственное» Пушкину («*Пушкину сродни звездой*»), Клюев ни в коей мере не претендует занять место «Солнца русской поэзии». Напротив, с гордостью заявляя о своем «*сродстве*» с Пушкиным, поэт тем самым утверждает непререкаемость авторитета и немеркнувшее сияние славы своего великого предшественника. Клюев декларирует, несмотря на то, что он «*посконный и овинный*», схожесть с Пушкиным своим значением как главы новокрестьянской плеяды поэтов. Он заложил основание нового литературного течения в русской словесности, сплотившего поэтов-выходцев из крестьянской среды, что, по сути, явилось серьезной попыткой создания новой национальной поэзии на основе фольклорной традиции и традиции классической русской

словесности. И эта исключительная заслуга поэта Клюева, справедливо, «сродни» великому значению гения Пушкина и его народной славе.

Попутно заметим, что определенное сходство с фактами биографии Пушкина обнаруживается и в истории отношений Клюева и Яр-Кравченко, которая легла в основу поэмы «Повесть скорби». Так, общеизвестно, что одной из причин, побудивших Пушкина к дуэли, послужил полученный им 4 ноября 1836 г. анонимный пасквиль, содержащий оскорбительные намеки на неверность Натальи Николаевны Гончаровой. В истории трагического разрыва отношений известного поэта и молодого художника свою роковую роль также сыграло оскорбительное послание. Оно стало своеобразной точкой отсчета последовавшей череде фатальных событий и сопутствующих им интриг в судьбе поэта, окончившейся его гибелью от пули палача в одной из томских расстрельных ям. Клюев получает его от Зинаиды Воробьевой (впоследствии — первой жены А. Н. Яр-Кравченко), которая «с некоторой угрозой» [Кравченко: 157] недвусмысленно требовала от поэта прекратить любые отношения с ее возлюбленным — Анатолием, бравируя «законами революции и диалектики» [Кравченко: 157], которые однозначно были не на стороне к этому времени уже опального поэта. Последний роковой этап жизни Клюева и обстоятельства его трагической смерти, волею Провидения, в своей сущностной основе, спустя столетие, повторили гибельный путь великого поэта. Это позволяет говорить о «сродстве» судеб этих двух крупных творческих личностей. Не углубляясь в тему сходства биографий поэтов, отметим, что многочисленные аналогии фактов жизни Клюева и Пушкина требуют отдельного системного научного анализа, который не входит в ограниченные темой рамки данной работы.

Творческое осмысление трагической судьбы Пушкина в «Повести скорби» несет и религиозный оттенок, который проявляется в том числе и в библейской аналогии образа-символа пушкинской «звезды». В Новом Завете Вифлеемская звезда на небосклоне возвестила о рождении Христа и побудила волхвов начать паломничество к месту его рождения.

Для культуры Серебряного века Пушкин был, бесспорно, знаковой, центральной фигурой, служившей неоспоримым этико-художественным ориентиром (своего рода «путеводной звездой») для деятелей национального искусства, несмотря на то, что, как общеизвестно, были и те ее представители, которые в самом начале прошлого столетия жаждали сбросить его «с парохода современности». В то же время показательно, что уже в 20-х гг. XX века творческая интеллигенция, по воспоминаниям писателя В. Т. Шаламова, ожидала (подобно библейским волхвам) появления нового гения, равного Пушкину: «Тогда все ждали прихода Пушкина. <...> сбрасывать Пушкина с парохода современности в двадцатых годах уже не собирались, а жадно и всерьез ждали прихода гения» [Шаламов: 78]. Клюев, несомненно, относился к тем представителям творческой интеллигенции, кто не ждал, а неукоснительно следовал за «путеводной звездой» национального гения, служащего для него художественным ориентиром, начиная уже с первых самостоятельных шагов на литературном поприще, о чем свидетельствует его дебютный поэтический сборник «Сосен перезвон», увидевший свет в 1911 г. (см.: [Кудряшов, Клевачкина, 2012: 341–345]).

Трагический финал «Повести скорби» выходит далеко за рамки глубоких интимных переживаний героя-поэта из-за утраты «друга искреннего». Разрастаясь по мере развертывания сюжета, трагедия достигает эпических масштабов. Роковая гибель героя-поэта, значение которого сродни пушкинскому гению, возводится Клюевым в ранг национальной катастрофы, последствия которой самым серьезным и разрушительным образом скажутся на национальной словесности и на отечественной культуре в целом. Смерть поэта, «сродственного» (схожего) значением Пушкину, для творческого сознания автора «Повести скорби» — невосполнимая утрата для культуры, событие национального масштаба, достойное художественного воплощения в лиро-эпическом жанре поэмы.

Таким образом, текстовые отсылки к Пушкину, его биографии и творчеству, в поэме Клюева «Повесть скорби» способствуют созданию образа главного героя — обреченного на гибель поэта, подводящего итоги собственного творческого

пути. Тесное сближение героя-поэта, позиционирующего «родственную» близость своей судьбы и своих творческих принципов с пушкинскими, и ее автора позволяет заключить, что гений Пушкина для Клюева в последние творческие годы выступает единственным верным мериллом для определения значения собственного вклада в национальную сокровищницу культуры. В поэме «Повесть скорби» Клюев оставил потомкам удивительно точное образное определение собственного значения — «Пушкину сродни звездой», — в котором имя великого национального поэта, нарочито поставленное во главу фразы, утверждает Пушкина путеводной звездой, озарявшей его творческий путь и указующей дорогу всей русской поэзии.

Примечания

- ¹ Клюев Н. А. Сердце Единорога. Стихотворения и поэмы. СПб.: РХГИ, 1999. С. 609–610. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием страницы в круглых скобках.
- ² Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. Т. 2. С. 306. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием тома римской цифрой и страницы в круглых скобках.
- ³ Клюев Н. А. Словесное Древо. Проза. СПб.: Росток, 2003. С. 277.

Список литературы

1. Базанов В. Г. С родного берега: о поэзии Н. Клюева. — Л.: Наука, 1990. — 241 с.
2. Кравченко Т. А., Михайлов А. И. Наследие комет. Неизвестное о Николае Клюеве и Анатолии Яре. — М.: Территория, 2006. — 304 с.
3. Кудряшов И. В. «Бесы» А. С. Пушкина как возможный источник поэмы Н. А. Клюева «Плач о Сергее Есенине» // Пушкин и мировая культура: Материалы восьмой Международной конференции. — Арзамас: АГПИ, 2008. — С. 228–242.
4. Кудряшов И. В. Диалог Клюева и Есенина: Пушкинский контекст // Литературное общество «Арзамас»: история и современность. Сб. науч. ст. — Арзамас, 2015. — С. 377–385. (а)
5. Кудряшов И. В. Реминисценции «Бориса Годунова» в цикле Н. А. Клюева «Поэту Сергею Есенину» // Современное есениноведение. — 2015. — № 2. — С. 59–65. (b)
6. Кудряшов И. В., Клевачкина О. А. Этико-эстетические принципы раннего творчества Н. А. Клюева: сборник «Сосен перезвон» // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. — 2012. — № 6 (1). — С. 341–345.

7. Кудряшов И. В., Полякова О. А. Пушкину сродни звездой: О поэзии Николая Клюева. — Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2018. — 288 с.
8. Маркова Е. И. Родословие Николая Клюева. Тексты. Интерпретации. Контексты. — Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2009. — 354 с.
9. Маркова Е. И. Принципы создания художественной родословной в творчестве Николая Клюева // Труды Карельского научного центра РАН. Сер. «Гуманитарные исследования». — Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2010. — № 4. — Вып. 1. — С. 48–55.
10. Михайлов А. И. К биографии Н. А. Клюева последнего периода его жизни и творчества. (По материалам семейного архива Б. Н. Кравченко) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1990 год. — СПб., 1993. — С. 160–183.
11. Михайлов А. И. Николай Клюев и мир его поэзии [вступ. ст.] // Клюев Н. А. Сердце Единорога. Стихотворения и поэмы. — СПб.: РХГИ, 1999. — С. 7–74.
12. Николай Клюев. Воспоминания современников / [сост. П. Е. Побережкина]. — М.: Прогресс-Плеяда, 2010. — 888 с.
13. Одоевский В. Ф. Извещение о смерти А. С. Пушкина // Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». — 1837. — № 5 (30 янв.). — С. 48.
14. Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. — М.: Путь, 1914. — 812 с.
15. Шаламов В. Т. Воспоминания; Записные книжки; Переписка; Следственные дела. — М.: Эксмо, 2004. — 1066 с.

Информация об авторе: *Кудряшов Игорь Васильевич* — доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка и литературы Арзамасского филиала Нижегородского государственного исследовательского университета им. Н. И. Лобачевского.

Дата поступления в редакцию: 15.06.2018

Дата публикации: 01.10.2018

Igor V. Kudryashov

(Arzamas, Russian Federation)

kiv.arz@yandex.ru

The Author and the Hero in the Poem “Povest’ Skorbi” of Nikolai Klyuev

Abstract. This article provides an analysis of an autobiographic image of the lyric hero of the poem “Povest’ Skorbi” (“The Povest’ of Sorrow”) by N. A. Klyuev (1933). The author of this poem puts forward the “kinship” closeness of his own destiny and his main creative concepts to his great predecessor, poet A. S. Pushkin. The text of Klyuev’s poem contains numerous references to the facts of Pushkin’s biography and his works. The study of these references is important not only for understanding the deep semantic layers of one of the most touching works of Olonets poet but also for understanding the principles of continuity of Pushkin’s ethical and aesthetic concepts in the late works of Klyuev. The author of the research comes to conclusion that the reference to Pushkin, to his biography and works in the poem contributes to the creation of an autobiographical image of the main character — the poet destined for death, who is summing up the results of his own career.

Keywords: a new peasant poetry, continuity, dialogue, literary tradition, poem, reminiscence, N. A. Klyuev, A. S. Pushkin

References

1. Bazanov V. G. *S rodnogo berega: o poezii N. Klyueva* [From the Native Shore: About N. Klyuev’s Poetry]. Leningrad, Nauka Publ., 1990. 241 p. (In Russ.)
2. Kravchenko T. A., Mikhaylov A. I. *Nasledie komet. Neizvestnoe o Nikolae Klyueve i Anatolii Yare* [The Legacy of Comets. The Unknown Facts About Nikolai Klyuev and Anatoly Yar]. Moscow, Territoriya Publ., 2006. 304 p. (In Russ.)
3. Kudryashov I. V. A. S. Pushkin’s “Demons” as a Possible Source of the Poem of N. A. Klyuev “Lament for Sergei Yesenin”. In: *Pushkin i mirovaya kultura: Materialy vos’moy Mezhdunarodnoy konferentsii* [Pushkin and World Culture: Materials of the Eighth International Conference]. Arzamas, Arzamas State Pedagogical Institute Publ., 2008, pp. 228–242. (In Russ.)
4. Kudryashov I. V. The Dialogue Between Klyuev and Yesenin: Pushkin Context. In: *Literaturnoe obshchestvo «Arzamas»: istoriya i sovremennost’* [Literary Society “Arzamas”: History and Modern Age]. Arzamas, 2015, pp. 377–385. (a) (In Russ.)
5. Kudryashov I. V. Reminiscences of “Boris Godunov” in the Cycle by N. A. Klyuev’s “To the Poet Sergei Yesenin”. In: *Sovremennoe eseninovedenie* [Contemporary Esenin Studies], 2015, no. 2, pp. 59–65. (b) (In Russ.)

6. Kudryashov I. V., Klevachkina O. A. Ethical and Aesthetical Principles of Early Klyuev’s Works: The Collection of Poems “The Chimes of the Pine Trees”. In: *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta imeni N. I. Lobachevskogo* [*Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod*], 2012, no. 6 (1), pp. 341–345. (In Russ.)
7. Kudryashov I. V., Polyakova O. A. *Pushkinu srodni zvezdoy: O poezii Nikolaya Klyueva* [*It Is Similar to Pushkin a Star: About Nikolay Klyuev’s Poetry*]. Nizhny Novgorod, National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod Publ., 2018. 288 p. (In Russ.)
8. Markova E. I. *Rodoslovie Nikolaya Klyueva. Teksty. Interpretatsii. Konteksty* [*Nikolay Klyuev’s Genealogy. Texts. Interpretations. Contexts*]. Petrozavodsk, Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences Publ., 2009. 354 p. (In Russ.)
9. Markova E. I. Principles of Building Artistic Genealogy in the Works of Nikolai Klyuev. In: *Trudy Karel’skogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy Akademii Nauk. Seriya «Gumanitarnye issledovaniya»* [*Transactions of Karelian Research Centre of Russian Academy of Sciences. Series “Research in the Humanities”*]. Petrozavodsk, Karelian Research Centre of Russian Academy of Sciences Publ., 2010, no. 4, issue 1, pp. 48–55. (In Russ.)
10. Mikhaylov A. I. More on N. A. Klyuev’s Biography of the Last Period of His Life and Work. (Based on the Materials of Family Archive of B. N. Kravchenko). In: *Ezhгодnik Rukopisnogo otdela Pushkinskogo doma na 1990 god* [*Yearbook of the Manuscript Department of Pushkin House for 1990*]. St. Petersburg, 1993, pp. 160–183. (In Russ.)
11. Mikhaylov A. I. Nikolai Klyuev and the World of His Poetry. In: *Klyuev N. A. Serdtse Edinoroga. Stikhotvoreniya i poemy* [*The Heart of the Unicorn. Verses and Poems*]. St. Petersburg, Russian Christian Humanitarian Institute Publ., 1999, pp. 7–74. (In Russ.)
12. Nikolay Klyuev. *Vospominaniya sovremennikov* [*Memoirs of Contemporaries*]. Moscow, Progress-Pleyada Publ., 2010. 888 p. (In Russ.)
13. Odoevskiy V. F. Notification of A. S. Pushkin’s Death. In: *Literaturnye pribavleniya k «Russkomu invalidu»* [*Literary Supplements to the “Russian Invalid”*], 1837, no. 5 (Jan. 30), p. 48. (In Russ.)
14. Florenskiy P. A. *Stolp i utverzhdenie istiny. Opyt pravoslavnoy feoditsei v dvenadtsati pis’makh* [*The Pillar and Ground of the Truth: An Essay in Orthodox Theodicy in Twelve Letters*]. Moscow, Put’ Publ., 1914. 812 p. (In Russ.)
15. Shalamov V. T. *Vospominaniya; Zapisnye knizhki; Perepiska; Sledstvennyye dela* [*Memoirs; Notebooks; Correspondence; Investigatory Records*]. Moscow, Eksmo Publ., 2004. 1066 p. (In Russ.)

Information about the author: *Kudryashov Igor V.* — Doctor of Philology, Senior Lecturer, Professor of the Department of Russian Language and Literature of Arzamas Branch of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod.

Received: June 15, 2018

Date of publication: October 1, 2018